

Ирина Муравьева

Тайна Маяковского

Вряд ли я бы стала писать о нем, если бы не вчерашний класс. Пришлось прочитать о Маяковском коротенькую лекцию американским студентам в Браунском университете. Я этого поэта много лет в руки не брала. Последнее, связанное с ним событие, была книжка Юрия Карабчиевского "Воскресение Маяковского", по-моему восхитительная своей нравственной точностью. Карабчиевский был человеком прямым и искренним на удивление, и прямота, соединенная с масштабным мышлением, позволила ему отнести Маяковского не к явлению литературного или культурного порядка, а — без всякой лишней аллегории — к явлению порядка религиозно-философского. Цитирую:

"Новое религиозное возрождение, которое мы как будто наблюдаем, не столько приобщило нас к истинной вере (какова она, истинная?), сколько вернуло нам Бога и дьявола (особенно дьявола!) в качестве универсальных средств выражения. Мы вновь получили удобный инструмент, легко приложимый к любой ситуации, будь то человек или целый народ. Это дьявол, говорим мы уверенно, а это не дьявол. А вот это не дьявол, но кое-что в нем есть от дьявола. И все становится на свои места, все неясное обретает ясность, больше нечего выяснять и не о чем спорить. Заманчиво, верно?"

...Итак, дьявол. Антипоэт. Миссия его в этом мире — подмена. Культуры — антикультурой, искусства — антиискусством, духовности — антидуховностью. Был избран подходящий молодой человек, тщеславный, с неустойчивой робкой душой, но с высоким ростом и сильным голосом, то есть резко выделяющийся по внешним данным. За сто лет до того держателем высшего дара, носителем божественного огня явился человек ниже среднего роста, со смешной по сути дела фамилией. Для дьявольского замысла была необходима яркая, издала заметная оболочка и такое же яркое значащее имя. Сначала его лишь направляли и подпихивали. Отсюда, с одной стороны, огромная энергия, с другой — еще живое выражение лица, без улыбки, но все-таки живое, не маска. Позднее, допустим, к 15-му году, состоялась окончательная передача его души в чертово ведомство.

Подмена — цель, но она же и средство. Поэтому подмена всегда неполная. Никакое человеческое восприятие не справилось бы с откровенной имитацией, лишенной всего человеческого. И вот ему оставляют любовь к женщине, обиду и душевную боль. Призывы к надругательству над всем, что свято, уравновешиваются героической демагогией.... Дальше идет соблазнение женщиной, кровавый договор... классический ход, отработанный на протяжении многих столетий. 17 год, хаос, катастрофа, все перевернуто с ног на голову, а у новой власти, у механического общества — уже свой готовый великий поэт.

Он честно отрабатывает каждый пункт договора, он проявляет фантастическую трудоспособность, с пользой расходуя каждый квант сообщенной ему энергии. Менее чем за десять лет он успевает вывернуть наизнанку любой аспект окружающей жизни, снабдив его яркой привязчивой формулой.

К середине двадцатых годов из его души почти полностью вытесняется все человеческое — и в это же время ему начинают постепенно уменьшать подачу энергии, вплоть до полного ее перекрытия. Дело сделано, он больше не нужен и со временем будет лишним."

В моем московском детстве литература — особенно русская и классическая — была делом столь же простым и домашним, как ежевечернее гуляние с отцом по тихим переулкам, примыкающим к Плю-

щихе. Чтобы мне было не скучно, мы заглядывали в окна. За окнами шла бедная и простая жизнь. Окна были или на первом этаже, или ниже — полуподвальные, почти слепые. Выше мне было трудно рассмотреть, приходилось заирать голу в большой меховой шапке, туго прикрученную клетчатым шарфом к засыпанному снегом воротнику. Медленно двигаясь по узкой сверкающей под фонарями белизне, мы — сквозь неплотно прикрытые занавески — рассматривали чужие вечера: бледенькая девочка

блеск снега, боль моих воспаленных миндалин, голос близких. Все прочитанное мною тут же обсуждалась, как вечерняя жизнь Неопалимовского и Первого Труженикова переулков во время прогулок.

Бабушка моя, насколько я помню, читала всегда. Даже когда готовила у плиты. Читала она очень быстро и жадно, книги приносились из библиотек, где работали ее подружки — одна на Зубовской, и звали ее Августа, а другая — в маленькой библиотеке рядом с Новодевичьим монастырем, и звали ее Анька.

Августа была огромная и седая, с раздутой левой рукой. Бабушка говорила, что ей ампутировали левую грудь и от этого рука так увеличилась в размере, Анька же — несмотря на ее шестьдесят с небольшим, никакого другого имени ее у нас не существовало, — Анька была маленькой, смешной и горбатой, в синем сатиновом рабочем халате, с вечной приветливой скороговоркой во рту. Августа и Анька снабжали наш дом всеми новыми и старыми изданиями, всеми сколько-нибудь интересными публикациями,

потому что обе — несмотря на затертость и невыразительность — были старухами образованными, знающими языки и всякого в своей жизни хлебнувшими. Книжки приносились из библиотек авоськами и авоськами же уносились обратно. Кроме того все собрания сочинений, на которые тогда, в начале шестидесятых, можно было подписаться, стояли у нас в полированном шкафу с витиеватым женским именем "Хельга" и мерцали своими скромными корешками.

Никто не давал мне никакого продуманного интеллектуального направления, никто не развивал во мне строгого вкуса на культуру вообще и книгу в частности. Было другое: в доме у нас присутствова-

ло особое, нежно-фамильное и почти родственное отношение к тем, кто когда-то сотворил все это.

Помню, например, как я болею очередной ангиной, а бабушка сидит у моей постели и быстро-быстро читает мне вслух "Онегина". А потом вдруг останавливается на словах какого-то "лирического", как говорят умные люди, отступления и смахивает слезы.

"Ты что?" — прекрасно понимая, "что", спрашиваю я, радуясь невыносимой радостью, от которой мне тоже хочется всхлипнуть.

"Жалко его, — отвечает она. — Такой был умный. Убили! Ну, что? Красавица-то красавица, Наталья Николаевна, но дура! Такого мужа не пощадить! Свиристелка! Одни наряды в голове!"

Так и запало в мое сознание, кроме текста, — нечто, как я теперь понимаю, важнейшее, чем текст: любовь и жалость к убитому Пушкину.

С Чеховым было немножко смешно. Чехов был моей бабушке почти современник, и относилась она к нему как к человеку, которого застала на этом свете и с которым вполне могла бы быть знакома, если бы повезло.

"Все она ему врала, все! От "А" до "Я"! — (я понимала, что это о Книппер, которую бабушка терпеть не могла, почти так же, как Мичурин, который по ее словам, "все яблоки перепортил!") — Сидел, больной, умирающий, в Ялте, а она тут хвостом крутила, великая актриса! Ты письма почитай! "Твоя собака"! А он верил! А — с другой стороны — что ему оставалось?"

"Какая собака?" — спрашивала я, хотя опять же отлично знала, как

"Как? — ахала бабушка. — Как "какая"? Это она так подписывалась: "Твоя собака". А он верил!"

Пушкина мы жалели изо всех сил — как ярчайшее человеческое совершенство, мелкие просчеты которого, если они и были (ну, карты, ну, кутежи — ерунда какая!), неприлично даже упоминать, над пушкинскими предсмертными му-

ками (в живот, в живот! Лакей нес по лестнице на руках, он спросил: "Грустно тебе нести меня?"), над пушкинскими муками мы всхлипывали и отводили глаза, Чехова любили как больного, кашляющего, деликатного человека, автора "Каштанки" (на даче жила дворняжка, которую мы подкармливали, и звали ее точно так же!), а вот Толстого почему-то не обсуждали с точки зрения его собственной жизни, но зато обсуждали — как живых и близких — всех его героев.

"Наташа, — уверенно говорила бабушка, глядя, как я в сотый раз рисую цветными карандашами первый бал Наташи Ростовской, — просто замуж хотела. Все равно за кого, лишь бы выйти. Князь Андрей умер, так хоть за Пьера!"

(Замечая в скобках, что совсем недавно я прочитала большую работу Бориса Парамонова, где весьма профессионально выражена равно та же бабушкина мысль!)

К Наташе мы относились покровительственно, как к маленькой, зато Анну Каренину жалели почти, как Пушкина.

"Она же тяжело больная была женщина, — пела я уже в старших классах средней школы, где роман этот не проходили, но бегло касались во внеклассном чтении. — Она же морфий принимала, бедная!" (Анна и впрямь принимала морфий!)

Примеров такого домашнего родственного отношения к предмету очень много, и перечислять их все вовсе не обязательно. Благодаря этому отношению русская классика стала не только частью моей жизнью, но и определила ее основное содержание, вылепила ее основные формы, как это делают семья, дружеское окружение, исторические реалии и климат. Мало сказать, что в моем первом приближении к литературному миру присутствовало тепло, в нем была горячность и безрассудство полного и благодарного обожания.

И только один человек вызывал у моей бабушки странно-пугливую реакцию, почти отвращение.

Этим человеком был Маяковский.

Бостон

Окончание следует.



Л.Жегин. Портрет В.Маяковского. 1913.

делает уроки и при этом ест яблоко, женщина расчесывает длинные седые волосы перед складным зеркалом, потом долго и старательно вычищает расческу, входит мужчина в черных трусах до колен, подходит к буфету, наливает себе воды из графина, растрепанные двое — муж и жена — кричат друг на друга, он замахивается, а она отскакивает в угол...

Вечера были чужими, но при этом предельно приближенными ко мне, их можно было легко разглядеть сквозь стекло и обсудить увиденное. Точно так же была предельно приближена книга. Чтение составляло значительную часть дня не как занятие, а как вкус и запах жизни, яркость печного тепла,

8-6